

тактики он ограничивается одним отрицанием антиномического человеческого знания, но без экстаивно-мистического подъема, ведущего к возрождению. Эта хроническая недоговоренность, эта половинчатость и незавершенность процесса его мысли гораздо больше роднит Шестова с Ницше, чем с Достоевским. Он пишет чрезвычайно сильно и убедительно, часто даже увлекательно-красиво, но всегда в конце концов оставляет своего читателя ни с чем: отнимая науку, дискредитируя разум, не дает взамен ничего другого. В итоге получается один голый анализ без синтеза, рассуждение без последнего вывода, тяжкая болезнь духа без перспективы выздоровления. Раскрываемые противоречия не находят примирения, ярко обнажаемые основные антиномии остаются без всякого решения. Выходит так, что наука угробила Бога, а Шестов угробил науку, но Бога-то не воскресил. В итоге, вместо какой бы то ни было перспективы сознательной жизни если не верой, то хоть отвлеченной мыслью, получается уже не одна, а целых две величественных гробницы, наполненные удушливыми смрадом тления.

И это — большая ошибка, горькая неправда, потому что тот же Достоевский, именем и авторитетом которого систематически оперирует Шестов, перевалил за антиномии, нашел решение их в Христовой мистике и зовет нас вовсе не к смраду и тлению, а к духовному воскресению и жизни — жизни, как-то совсем иначе понятой, внутренне озаренной и в просветленном понимании своем воистину бесконечной...

А. М. РЕМИЗОВ

Ответ на анкету:

«Ваше первое литературное выступление»

Охотнее всего и с подробностями любят старые писатели вспоминать о начале своей литературной работы. Спросите у Льва Исааковича Шестова, вот кто порасскажет мастер — десять вечеров будете слушать, а всего не переслушаете: и как ему «опытные писатели» слог выправляли с «плевательницей», то бишь чернильницей», и как Тулов к Толстому за статьей ездил, и о Бердяеве, и о Челпанове¹. Умеет и Николай Александрович Бердяев вспомнить такие обстоятельства, какие в историю литературы не попадают и вовсе не за неуместностью, а по небрежности и невниманию сочинителей. И все это понятно, ведь с первым напечатанным произведением связаны самые яркие надежды, и лишь

раз чувствуешь в себе твердую уверенность: еще вчера ничего, а с сегодняшнего дня попал в ряды неизгладимых никаким временем имен — от Фалеса до Толстого. Когда появилось мое первое напечатанное произведение: «Плач девушки перед замужеством» (8. IX.1902 г. в газете «Курьер», Москва; входит в книгу «Посолонь», изд. Таир, Париж, 1930), и притом совершенно неожиданно для меня — мои начинания не одобрил ни один «опытный писатель», — я, вознесенный до Фалеса, прежде всего задал себе вопрос: как же я себя теперь именовать должен? И летом, на следующий год, очутившись в Херсоне, на опросном листке городской библиотеки в первый раз написал в рубрике занятий — «писатель».

Когда писал, ничего не пропустил в «писателе», ни одной буквы, но когда подал листок с «писателем» библиотекарше, и она, взглянув на него, как-то так посмотрела на меня — так смотрят подозрительные на почте, когда подаешь заказную бандероль с надписью «manuscrit pour l'impression», которая расценивается как «imprimé», — и я посмотрел на нее... А через три дня попросил знакомого снести в библиотеку взятую книгу, и больше не брал книг, так и залог пропал. Или нельзя так сразу в Фалесы вскочить, а надо время.

Прошло три года, напечатан был мой роман «Пруд», а уж в «Курьер» меня больше не принимали. Случилось, искал я квартиру и обратился к какому-то «полковнику»: сдавал квартиры в собственном доме. Говорили об условиях, и чего можно, и чего нельзя, и, как всегда, говорили не о действительных требованиях, а о возможных; я несколько раз спрашивал: «Можно ли петь после двенадцати?» — и не потому, что бы я пел, а имея ввиду наезды в Петербург Льва Исааковича Шестова. И когда обо всем договорились, полковник обратился ко мне с самым животрепещущим для меня вопросом: «Чем вы занимаетесь?» И я не нашел в себе той уверенности, какая была у меня в херсонской библиотеке, и не без застенчивости, но и лукаво ответил: «Я так». И ответ мой решил все дело: от квартиры пришлось отказаться — одна из комнат в подвальном этаже оказалась залита водой — но, сколько не просил я вернуть задаток, 20 рублей, «полковник» не вернул. Но когда ж — в какие сроки я найду в себе право называться без всякого такого, двусмысленного, «так» — «писатель»? Я об этом долго потом думал. И как-то совсем незаметно — автоматически — прикрепилось название. И в войну я уж смело сказал хозяйке, передававшей квартиру, что я писатель; и получил ответ: «У меня муж был писатель, ни за какие деньги!» Но я не оправдывался и не опровергал. И теперь, после стольких лет литературной работы, мне не раз приходилось здесь, в Европе, доказывать свое звание: не верят — и в кардиантите² я не числюсь «писатель», а *redacteur*. И скажу так: не всякому дается легко прыгнуть в Фалесы, но еще труднее удержаться.